

*Адель
Хаиров*

*Сорок лет назад,
в 1969 году,
Венедикт Ерофеев
начал работу над
поэмой «Москва –
Петушки». Это
ставшее культовым
произведение было
опубликовано лишь
двадцать лет
спустя, в 1989-м*

Казань – Курочки

поэма

Нет, если я сегодня
доберусь до Петушков –
невредимый – я создам
коктейль, который можно
было бы без стыда пить в
присутствии
Бога и людей, в
присутствии людей и во
имя Бога. Я назову его
«Иорданские струны»
или «Звезда Вифлеема».
Если в Петушках
я об этом забуду –
напомните мне,
пожалуйста.

*Венедикт Ерофеев,
«Москва – Петушки».*

Сразу же хочу подчеркнуть, что всё сказанное здесь – чистейшая правда. Правда и только правда, и ничего, кроме правды! Я даже могу поклясться на лбу судьи, греющего свою озябшую ладонь на огнедышащей Библии. Но, думаю, ума у вас хватит не требовать этого от татарина...

Итак, родился мой персонаж – будущий безбилетный пассажир голубых электричек – в невыносимую сорокоградусную жару в середине октября 1969 года, когда откуда-то сверху на Казань неожиданно свалились патлатые Битлы, да с таким хрустом, как будто бы снежная лавина сошла или целый вагон жёлтых листьев с тремя урнами бычков опрокинулся на похмельную голову дворника Мубарака. Зашибись! Он с детства патологически ненавидит эти снежинки сложной геометрической конструкции, особенно когда они хлопьями, и терпеть не может огненно-красные кленовые листья. Чуп! – говорит он по-татарски, что по-русски означает «мусор».

Они просто вывалились из самолёта – и всё тут, из Ту-154. Люди видели. Спикировали, правда, без Ринго Старра, его по старой дружбе подменил Стю Сатклифф.

Поселилась ливерпульская четвёрка в санатории «Крутушка», в трёхместном номере с раскладушкой, с видом на хмурую Казанку, где целыми днями жрала водку. Маккартни пил подогретую, горло берёт. Харрисон научил буфетчицу делать правильную «Кровавую Мэри» и «Кровожадного Хичкока», так как в буфет завезли целый грузовик

томатной пасты, а Леннон изображал из себя японца и ел барабанными палочками татарскую лапшу. Ринго в отместку больно щипал его гитару. Фу ты, ну ты, откуда же в «Крутушке» взялся Ринго? Возможно, приехал следом на фирменном поезде «Татарстан».

Если вы послушаете внимательно их «Octopus's Garden», то услышите явные татарские мотивы. Эту мелодию им навистел заводделением Мордас-абый, который даже после отъезда квартета, ещё сутки лежал бездыханным трупом в их номере и тяжело вздыхал. Бездыханный, он тяжело вздыхал!

Наконец-то в свои пятьдесят пять он впервые попробовал вождяделенного виски, и оно разочаровало его самогонной сутью. Так что возврат к русской водке был похож на возвращение блудного сына к матери. Но было ещё и другое потрясение...

Мордас-абый плакал, сжимая в руках рулончик розовой туалетной бумаги, о существовании которой он до сих пор даже не догадывался, будучи уверен, что весь мир с удовольствием пользуется нарезанными газетными квадратиками. В это время в дверь постучали костяшками пальцев, потом заскребли ногтями и под конец пнули носком без ботинка. Ботинок был в руке, люди видели. Завотделением еле слышно спросил: «Кем бу?»*

В дверях стоял Подгулявший, но если бы его положили рядом с заводделением, то это было бы логичнее,

* Кто это? (мам.)

потому как стоял он так себе. Точнее, мотало его.

Здесь, чтобы читатель представил себе героя поэмы как живого, я приведу отрывок из Тургенева. У него в рассказе «Певцы» есть точное описание моего Подгулявшего:

«Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздёргивал сверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!»

Казань, улица имени пламенного революционера Абрама Комлева (ныне – имени татарского математика Муштари)

Вот отсюда Подгулявший и начал свой путь в сторону Курочек. Трамвай №2 как раз шёл до железнодорожного вокзала. Здесь же на остановке, находился один хитрый подвальчик, где пропадали многие бесследно. Каждый раз, когда приоткрывалась дверь с оглохшим валдайским колокольчиком, оттуда выплывало пузырьком, как шар углекислоты с «Yellow Submarine», синее облачко сладкого перегара. Но мы туда не пойдём, а лишь заглянем в мутное окошко. Ну конечно, стоит наш «пассажир голубых электричек» и ожидает, когда же объявят посадку на Курочки. Уже набрался! Когда у него в кармане громко шуршит крупная купюра, то он так и уезжает в Курочки, не выходя из подвальчика. И что удивительно, доезжает ведь, собака такая!

Из разговора в рюмочной: «Человек – это крайне неудачная конструкция. Спереди два глаза, нос, по бокам – уши, а сзади только ж...!»

Теперь на минутку заглянем во дворик обшарпанного дома с географичес-

кими островами жёлтой штукатурки по стене, откуда полчаса назад вышел Подгулявший, с тем, чтобы познакомиться с героем поближе. Кто он? И к кому теснее прижался: к революционерам или математикам, к лирикам или физикам? Как зовут его, в конце-то концов? Кто его родитель? Начнём с папы...

Папа появился в Казани посреди февральской ночи. Надвинул капюшон поглубже на свои маслины под заиндевелыми ресницами, уткнул фиолетовый баклажан в грубый шарф, пропахший костром, жареным мясом и перегаром, и всего лишь на минуту заснул стоя.

Татарский буран (шурум-бурум!) античными колоннами крутился в тесной улочке и выл фавном. В ледяных сталактитах, выросших до крыш, светился и скрипел фонарь в ржавой тарелке. Всё было уныло, но в закутке проулка находился маленький дворик, со всех сторон занесённый сугробами. Вот туда-то и затолкала античная колонна пришельца. Он разлепил замёрзшие глаза и увидел цветной сон: дикий виноград с красными листочками и чёрными мелкими ягодами полз по стенам, шевеля щупальцами и шаря в распахнутых окнах. Из сломанной колонки вяло журчала струйка. Путник опустил на деревянную лавку, испещрённую тюркскими и славянскими именами, но тут же вскочил, как с раскалённой сковородки. Ухватился за медную ручку разошедшейся двери и тут же отдёргнул руку. Казанский дворик дышал, как печка!

Незнакомец повесил на ограду палисадника свой дорожный плащ, свитер из овечьей шерсти, засаленную жилетку, кожаные краги пастуха, дырявые шерстяные носки. Снял он и грубые альпийские ботинки со стёртыми гвоздиками на подошве и водрузил их на лавку. Потом отпил из фляжки красного вина и распростёр руки навстречу солнцу.

Он был похож на римского философа Эпимана, которого из-за его выда-



16



ющегося носа ученики сравнивали с сирийским царём Антиохом VIII, носившим прозвище – «Гриб». Внешностью же последний очень походил на римского императора Максимиана Траяна, бывшего пастуха. Этот же, в свою очередь, был похож...

Итак, голого человека, распятого на солнечных лучах посреди раскалённого дворика, звали Джованни Джулик-Кисель. Пришёл он в Казань всего на одну ночь, и на следующее утро его уже и нос простыл. Дворик, не выдержав натиска февральской метели, капитулировал. Носик колонки тоже замёрз, виноград засахарился во льду, а через девять месяцев у учительницы итальянского языка, проживавшей здесь же в тёмной комнатке на третьем этаже, родился кудрявый аполлончик – солнечный теплолюбивый мальчик. Когда он писался, ей слышались древние фонтаны Рима, когда что-то бормотал, отрывая комочки манки, – оды Овидия...

Она была влюблена в Италию – страну своих грёз и, конечно же, боготворила сына – ожившую римскую скульптуру неизвестного мастера. Вспоминая его, она вновь ощущала на сдобных боках своих и колобке груди цепкую клешню итальянца. Он мял и месил её, как повар тесто, как мастер глину...

Утром от него остался лишь острый запах овечьего бурдюка и винное пятно от пьяного комара, которого он припечатал к стене со словом «баста»! Через пару месяцев из городка Барлетта пришла весёлая солнечная открытка. Итальянец просил посмотреть под кроватью, не обронил ли он там медальон с изображением философа Эпимана, а ещё его очень интересовало, как назывались те маленькие русские пирожки с мясом, плавающие в бульоне, которыми она его угощала. Медальона она нигде не нашла, даже в валенках, пирожки назывались – пельмени, а из открытки она узнала имя ночного гостя.

Вот так и родился в Казани Бонифатий Джованниевич с нетатарской фамилией Джулик-Кисель (скажи спасибо, что не какой-нибудь Йиндржих Пфаффенбергср!). Сложно догадаться, как его обзывали в школе. Вариантов-то множество...

Кажется, в классе пятом Бонифатий, не подумав о последствиях, взял и украл в школьном буфете стакан киселя. И с тех пор прилепилась к нему, как жвачка к шерстяным брюкам, кличка «Кисельный жулик». Но мы его так обзывать не будем.

Может быть, как раз после этого у него появилось стойкое отвращение к киселю как к напитку, а может, итальянская кровь вдруг забродила в венах, но Бонифатий стал потреблять красненькое рановато – с девятого класса. И напивался в стельку...

Сам же он называл другую причину своего безобразного поведения. «Всё это из-за моей природной стеснительности. Я был так робок, что не мог сделать и шагу из дому, пока не уговорю бутылку креплёного для храбрости».

Казань, трамвай «двойка», на котором в тубетейке катался Борис Ельцин

Он скрежещет и гремит. Кондукторшу мотает, как матроса на палубе пакетбота. Кисель представил на минутку, как стоит она в платном туалете, и вместо билетов у неё рулончики туалетной бумаги. Он попросил вагонного жатого приоткрыть немного двери и полил на ходу Казань кривой струей. Оросил! Наверное, кто-то из прохожих подумал, что это такой поливочный трамвай закупила мэрия, а некоторые вообразили, что это фонтан на колёсах, а быть может, нашлись и такие, кто усомнился и в том, и в этом и пошёл в своих фантазиях дальше: передвижная буфетная установка по продаже «Боржоми» – вот что это такое!

В это время на майдане у памятника Ленину появился тщедушный бабай в мятой тюбетейке и весь в сухих козювках. Он согнул ноги бубликом и замахал туда-сюда зелёным флагом, выкрикивая: «Я – будущее своего униженного народа! Я подарю Ельцину свою тюбетейку!» Около него остановились великаны – красавцы гренадёры – и молча слушали. Наконец старик осёкся и спросил: «Вы что? Не верите, что ли, я – будущее...» «Верим, бабай, – сказали они как-то грустно, – ведь мы его прошлое...».

Казань, улица имени пламенного революционера Николая Баумана, убитого здесь меньшевиком водосточной трубой прямо в тёмное темечко (бывшая Проломная)

Я даже ничуть не сомневался, что Кисель здесь спрыгнет. Во-первых, трамваи ещё будут, во-вторых, здесь изобилие рюмочных, а дорога до Курочек не близкая. Надо подкрепиться креплёным!

Ах, мои волшебные Курочки, когда же я увижу вас?! Там на перроне ждёт меня, топчется, переминается, шелуша семена подсолнечника, девушка-сон с глазами влажными, как морская галька около Лоо. Окололоо! Она близоруко щурится в даль, но там лишь боцман в отставке с корзинкой дамских пальчиков делает нарочно губами, как парочод, «ту-ту-ту», чтобы сбить её с панталыку. Гадёныш!

Кисель толкнул замурзанную тысячами липких лап, покатых плеч, скрипучих коленок, похмельных голов дверь рюмочной, скрывавшуюся под вывеской «Чайная», и она дыхла на него сложным перегаром. Хотя, если минуты три постоять и распробовать это облачко ноздрями повнимательнее, то можно быстро разложить его на три составные части: водка плюс портвейн плюс апе-

ритив «степашка», сверху ещё грязные носки и горячие, как борщ, подмышки, а потом как нечто связующее – мясной дух круглых пирожков – перемячей с начинкой из фарша. Запашок!

Сидячих мест не предполагалось, поэтому поддавальщики стояли, упёршись расставленными локтями в липкие столики. Где-то там, внизу, болталась, как у тряпичных кукол, пьяные ноги, а наверху, отрезанный столешницей, стоял и о чём-то трендел вроде бы не такой уж и пьяный мужик. Когда норму выполняли, то традиционно добавляли сверху ещё грамм сто и просто героически откидывались назад, как солдаты, сражённые снайперской пулей. Опосля их за шкирку оттащивали к стене...

Но Кисель проявил-таки волю и отказался от добавочных ста граммов. Он вышел, выдохнул хмель, потом, правда, вдохнул его быстренько обратно. Жалко! После чего, путём лёгкого крена вперёд придав туловищу ускорение, залетел в трамвай.

Всё было точно рассчитано заранее, это была «двойка», а не какая-нибудь «восьмёрка», хотя к «двойке» он шёл «восьмёркой».

До вокзала есть ещё три коварные остановки, которые надо бы преодолеть зажмурившись!

Казань, улица пламенного революционера Сергея Кострикова, непонятно почему взявшего себе в псевдонимы имя персидского царя Кира, сына царицы Манданы

На улице Кирова что же еще делать? Ну, конечно, кирять!

Я вычитал недавно вот что: «По утверждению Геродота, царица массагетов Томирис, мстя Киру за смерть сына, бросила отрубленную голову Кира в бурдюк, наполненный кровью, предлагая ему таким образом утолить ненасытную жажду крови».

Мы же, как гуманисты, ограничимся красненьким винцом!

**Казань, улица татарского поэта
Габдуллы Тукая,
умершего в двадцать семь...**

Здесь трамвай делает крутой поворот в сторону вокзала, но впереди «провал» и «чёрная дыра» – Колхозный рынок. Берегись, Кисель! А пока расслабься, здесь тебе ничто не угрожает, подумаешь, всего одна рюмочная и забегаловка под вывеской «Кыстыбый» (так называется сложенная вдвое нехитрая лепёшка кочевников, внутри которой размазано картофельное пюре). Кстати, татарское слово «кыстым» можно перевести как «сжал» или «блеванул». Спасибо за предупреждение!

**Казань, остановка
«Колхозный рынок»**

Помню грохот, крики, визг и возню. Трамвай, дребезжа и усердно тренькая, с разбегу уминает толпу и распахивает свои ржавые двери на поляну, усыпанную крупной клубникой на лопухах, в ивовых корзинах, берёзовых тесках и даже в набирушках с подтёками сладкой июньской крови. Запах пьянит! Я вываливаюсь из трамвая и погружаюсь в детство. Бабы, торгующие ягодой, липкие и сладкие. Их мужики угрюмы, таятся в сторонке на корточках, в сырой тени «Закусочной». Они сдвигают потные кепки на затылок и передают друг другу вонючий бычок. Но вот в залапанных дверях забегаловки появляется Славка КПСС с дюжиной стеклянных колокольчиков, полных водки, в красных отмороженных лапах. Водка светится и лучится, морды мужиков светятся и лучатся. Бабы, как тучи, темнеют, злобно зыркают в сторону мужей, но их стрелы ломаются о стекло стаканов, а рык тонет в зычном шуме базара.

Мужики теплеют, разомлев на пополах. Солнышко радуется и купается в облаках! Они хитрым вороватым прищуром шарят по толпе, щупая белые, не обожжённые крапивой, ляжки город-

ских домохозяек, и хором выдыхают: «Вобля!»

В этом хрипе, нет, слове, нет, предположении, нет, романе на двести скучных страниц – вся история их деревенской жизни: с короткой отлучкой в армию, с единственной бабой, выданной богом на весь короткий мужской век, с единственным пиджаком из гардинной ткани, в котором и за свадебный стол, и в гроб...

Все двести страниц про одно и то же, будто бы написанные графоманом.

Признайтесь, ведь каждому интеллигенту хотя бы раз в год хочется нырнуть в немытую гущу народа, чтобы почувствовать себя в жизни не таким уж одиноким. При взгляде на эти сытые небритые морды и загорелые ряхи с шелухой семечек на губах или чешуёй воблы в волосах появляется какое-то странное желание стать таким же, как они.

Не пейте на рынке, это закончится скверно...

**Казань, улица имени пламенного
большевика
председателя Совнаркома
Сахибгарея Саид-Галиева.
Ж.-д. вокзал**

Всяких питейных заведений здесь навалом, но все они грязны и невежественны. От стаканов пахнет воблой или копчёной скумбрией. Водка – говно. Посетители – тоже. Это отъезжающие колхозники в новых галошах из универмага. Спитые мужики, как водится, худы и жилисты, поэтому они приезжают в Казань в своих лоснящихся свадебных пиджаках невероятного покроя. Почти как у Славы Зайцева!

Стоит такому выпить граммов сто, как он краснеет и начинает бучить и бычить на тебя свои глаза, чтобы сделать из твоего умного объёмного лица плоскую репродукцию.

С самого утрачка, как мы помним, Кисель стремился в Курочки. Махал руками, ногами. Раскачивал амплитуду ту-

ловища и даже надувал щёки. В этом своём страстном стремлении тело иногда опережало душу, но чаще душа – тело. Так его дёргало!

Сделав свой ритуальный обход казанских рюмочных, где знакомые буфетчики, завидев его, шутили: «Кисель кончился, зато осталась водка. Будете завтракать водкой, дорогой товарищ?», он оказался-таки на вокзале. И вот тут-то произошло невероятное...

Никто не может сказать, тем более сам Кисель, сел он в ту новенькую голубую электричку или ограничился привокзальной скамейкой, тоже – ну как нарочно! – окрашенной в голубой, где, задремав, вообразил себе, что едет в Курочки. Вполне возможно, что он всё-таки сел в электричку, но уехал в Бирюли, а ведь это совсем в другом направлении. Я пытался выяснить, что же произошло на самом деле, но тщетно. Уж не я ли сам, собственной персоной, поехал в Курочки вместо Киселя?! Или мы с ним так назюкалились, что стали одним целым? Ноги мои – глаза его! На многое ведь из окна электрички я смотрел его мутными, как у варёной щуки, глазами. Это точно...

Нет, я не пьян. Это всего лишь лёгкий похмельёк – шёпот вчерашней водки...

Ах, Курочки! Всего час пути, и я вывалюсь, как бурдюк, на чисто вымытый шампунем и дождями перрон, прямо к белым носочкам с голубой каёмочкой. Ты игриво стукнешь меня по лбу тяжёлой русской косой, и я усугублю свою вину: прилеплюсь пьяными губами к твоему белому, оцарапанному крыжовником колену...

Имя тебе – Беленькая!

Я знаю, ты хочешь казаться взрослой. Это нормально! Куришь, не таясь, свои ментоловые сигаретки, смешно захлёбываясь в волнах охлаждённого дыма. Ты ещё так свежа и наивна, что табачный привкус в твоём поцелуе ощущается как слабая, еле различимая нота случайно сорванной веточки польни в букете полевых цветов...

Пьёшь водку с вареньем, как чай, – обжигаясь и краснея. Правильно, так и

надо! Учи нас, тёртых мужиков, как надо её потреблять, – из широкого блюдца, по-купечески. А то мы, как пианисты, – хлоп в себя стопку, потом глаза выпучим и немым ртом спёртый воздух глотаем. Люди говорят, что в этот самый момент в своих мятых смокингах мы становимся похожи на сомов вальжных, выброшенных волной на пляжный песок. А ведь надо бы удовольствие на морде изобразить. Она же – водка! Родная мать ключевой и колодезной воде, сестра – чаю, компоту и киселю, тётя – дождю и снегу, бабушка – керосину и... Уф, и загнул же я осанну!

Из разговоров на перроне: «Я тут как-то книжку с собой на дачу вместо водки взял. Думаю, хватит, пора за ум браться. Мне ж скоро полтинник. И как назло, не та книжка попалась! Вот, послушайте-ка: «Из чайного поле битвы обращалось в винное. Алчно горели посреди графинчики, английская горькая подымала журавлиное горлышко, водка простая была скромна, твёрдо знала свою силу». Ну я сразу же, как приехал, в сельпо побежал!»

Казань – Адмиралтейская Слобода

Слишком уж громкое название для захолустной станции, заросшей пыльной травой. Кучи мусора вокруг и ни одной рюмочной...

Когда-то тут стучали топоры плотников, обнажая от коры корабельные сосны. Строили фрегаты для похода Петра на Дербент, а сейчас только электрички колесами стучат... Кстати, с тех пор в Дербенте неплохой делают коньяк!

Пока электричка, завывая, набирает скорость, и пассажиры, запрыгнувшие на ходу в последний вагон, идут сквозь тебя, доставать припасённую бутылочку рановато, да и неудобно как-то. Надо освоиться и потом уже булькать. Очень хорошо занять двухместное кресло у самой двери, тут, слегка пригнувшись, можно припадать к гор-

лышку сколько душе угодно. Беда, если народу много, и ты зажат между двумя завучами средней школы. Эти будут мерить тебя презрительно, как гробовщики, с кепки до самых штиблет! И водка твоя застрянет обжигающим глотком в оцарапанном горле. Плохо и когда в тебя упрётся скулящими глазками жёлтый алкаш или несчастная запущенная женщина, у которой пили бабушка, дедушка, папа, мама, тесть, сестра, брат, сын с невесткой, сосед, участковый, первая учительница, внук с одноклассниками и даже старый волкодав!

Как только отчалили от Казани (пока в электричке происходит утряска), можно сделать вид, что тебя интересует Кремль. Пялься, крути головой, протирай запотевшее окошко. Кремль – вот он, белым облаком висит над мрачным городом!

Дачница – старая груша с пустой корзинкой между ног – открыла потрёпанных «Трёх мушкетёров», и за окном медленно поползли отяжелевшие виноградники Бургундии. Она так и не смогла сделать решительный шаг от Дюма навстречу к Джону Фаулзу. То ли в ногах дело, то ли в голове...

Мне как-то всё не верится, что здесь, в Адмиралтейской слободе, в октябре 1858 года, в небольшой гостинице конторы пароходства «Меркурий», останавливался тот самый Дюма. Чё он тут пил? Кумыс? Чаи с топлёным молоком гонял? Или следом за ним пришлёпала баржа с бургундским? Меня этот вопрос очень даже беспокоит...

«Я в Казани, в царстве татар. Положив портфель мой на колени, пишу к вам с берегов Кабанского озера», – это из его письма в Париж. Я больше чем уверен, что в портфеле у него всё же была припасена бутылочка, походный серебряный стаканчик с монограммой «AD» и изящный штопор в виде возбуждённого мушкетёра.

В своём завещании он написал: «Желаю быть похороненным на прелестном кладбище городка Виллер-Котре, более похожем на лужайку, на которой могли бы играть дети».

«Я тоже так хочу!» – забредил Кисель и открыл «777», и пригубил его совсем как бургундское.

О, если бы мне платили, чтобы я не писал! О, как бы я тогда красиво не писал! Я бы стал самым известным Неписателем.

Что бы я делал? Сидел бы в одиночестве у моря и пил ром. Много рома. Вообще идеально, если бы вместо воды в море был крепкий, чуть сладковатый ром...

У какого-то американского писателя я вычитал: «Я умру очень старым, будет мне 93 или около того... Я буду сидеть в шезлонге на берегу моря, пыхтеть сигарой и устало смотреть, как солнце клонится к закату. Так и угаснем втроём: солнце, сигара и я!»

Ведь как красиво сказал, хоть и американец, даже захотелось непременно попробовать!

Слышал я в рюмочной, как один почтенный кукрыникс горько так обронил в стакан: «Господь забирает к себе лучших, а я, выходит, худший из худших!»

Адмиралтейская Слобода – Старое Аракчино

Чем мне запомнилось Старое Аракчино? Своей дощатой рюмочной. Даже не так, точнее – рюмошной! Ныряешь тюленем из июльского пекла в кислый сумрак и стоишь, ослеплённый влажной темнотой, слушая чавканье и громкие глотки с побрякиванием, пока тебя кто-нибудь не подтолкнёт из вновь вошедших к липкому прилавку, где висится буфетчица-королевна в окружении светящихся изнутри бутылей, бутылок, бутылочек...

Но взмыленный взгляд мужика безразлично соскальзывает с груди, бултыхающейся под стёганой жилеткой, и упирается в ценники, придавленные «ассортиментом, имеющимся в наличии». Потом, чуть успокоившись (всё-таки оно есть в наличии!), глаза бегут ниже, наискосок по персям, к алюминиевому поддону, накрытому от мух целлофаном.

Оттуда глядят на мужика яйца своими зелёными желтками и кособочатся штабелями лодочки хлеба с жирной сельдью, скупо (и так хороша!) украшенной кружочками синего лука. В сторонке себребрится горка килек пряного посола. Заготовлен даже растерзанный журнал «Советский медик» для пьяных губ. Но есть одни губы, которые буфетчица вытерла бы... поцелуем! Зовут их обладателя Фёдор, Федя, Федечка...

Буфетчица, даром что прикрывается ярконакрашенным забором безразличия, на самом-то деле по-своему каждого «тюленя» любит и жалеет, как малое и большое дитя...

Зигзагами, проделав сложный геометрический путь, тусклые яблоки глаз посетителя опускаются в дрожащую ладонь с мятыми бумажками и потным железом. Сухие губы беззвучно считают и вот, наконец...

Слышится первый громкий глоток и кряканье. Спустя несколько минут бездонной тишины глаза яснеют, загораются звёздным блеском и тогда уж быстренько, с разбегу, ныряют напрямик в горячие груди буфетчицы! Они купаются там и ликуют. Следом, через всю рюмошную, туда же тянется, опрокидывая стаканы, длань руки. Да какая к черту длань? Грабля!

Но я запомнил и пронёс через всю свою жизнь яркий образ гранёного стакана, покусанного у краёв, который с большой осторожностью вынес наружу спившийся интеллигент – на вид местный учитель русского языка и литературы. стакан засветился рубинами и плеснул на его небритую щеку гранатовый всполох. Я глотал слюну и наблюдал, как медленно наполнялся сладким рубином старый учитель и как вдруг он зажёгся люстрой! Мне показалось, ей-богу, что поил он беднягу Мармеладова внутри себя и похмелял славного подпоручика Ромашова. Захмелев, учитель умер на минутку, потом ожил и начал приставать к троице плотников. Поглядывая на пол-литру, торчавшую из чужого кармана, он стал горячо доказывать, что корень слова, давшего на-

звание станции «Аракчино», уходит далеко в полынные тюркские степи к монголам, пьющим в юрте древний напиток – «араке». Эх, араке!

Давненько я не захаживал в мою рюмошную... Пойду-поспешу!

Напротив уселась семейная пара, от них пахло антоновкой и сырой землёй. Между нами говоря, это от неё пахло всем этим, от него же – ну совсем другим. Муж задремал, а жена, прищурившись, стала разглядывать его. Обрюзг, подурнел, и только смоляные дуги бровей ещё говорят о былой казачьей стати. «Наконец-то он мой, – успокоившись, подумала она. – Только мой!»

В вагон, громяхая и спотыкаясь, ввалился лыжник – сухонький старичок в вылинявшем спортивном костюме. Старенькие лыжи с аккуратно спилёнными концами смотрелись, как подрезанные крылья лебедей. За грибами ходил или бутылки на полянах собирал?

Из разговора в электричке: «Вы не поверите, но он так любил свою жену, что всякий раз, когда любовница угощала его фирменным тортом, уносил ей в салфетке маленький кусочек».

Старое Аракчино – Новое Аракчино

В Новом Аракчино рюмочных нету. Зато имеется Храм, в котором худой и уставший целитель лечит верующих в Бахуса одним и тем же нехитрым способом. Суёт дымящую благовонную палочку прямо в алую глотку и прижигает там зелёный глаз Змия. Тот шипит, извивается и через задний проход удирает в Старое Аракчино, там клубком сворачивается под стонущей ступенькой в рюмошную, дрожит и ждёт ласки.

О том, как оригинально лечили от пианства до революции, мне рассказал тот самый учитель, а вернее, показал, достав из мятого портфеля, старинную газетку «Казанское Эхо». Запишите. Кто знает, может, и понадобится...

Новое средство от пианства

«Средство, правда, «съ ног сшибательное», но действует удивительно, если верить одному интеллигенту, имевшему скверную привычку ежедневно напиваться водкой и теперь совершенно излечившемуся. Вот его рассказ:

«Мой лекарь взял с меня клятву, что я проживу с ним в одной комнате три дня. После этого договора мы немедленно уселись за графинчик, другой, третий, пил он, пил я, и когда водка свалила меня с ног, он запретил всем в доме давать мне стакан чая или кусочек хлеба помимо него. Понятно, что, проснувшись, я почувствовал то, что чувствуют все пьяницы: жажду! «Пить!» – требую я. Он даёт мне ковш кваса. С жадностью я подношу ковш ко рту и... и швыряю его на пол: противно, сивухой отдаёт квас! «Воды, воды!» – кричу я. Но и вода пропитана тем же букетом. Садимся обедать. Но что за мерзость: бульон, хлеб, мясо, даже вилка сивухой пахнут! Оказалось, что он просто лил водку во всё и на всё! Одежда моя и та пропитана была этой мерзостью. И довел он меня всем этим до того, что не могу я переносить теперь даже запаха водки!»

Лекарь лечит сейчас двух купцов. Надо думать, что лечение их окажется не столь лёгким и удачным».

Из разговора в электричке: «Про печень, так же, как и про сердце, говорят: «она большая», но уже с другим подтекстом. Хотя, согласитесь, функции печени гораздо сложнее. Что такое сердце? Это обыкновенная насосная станция, а печень – целый химический завод по переработке вина обратно в воду. А ведь это непросто!»

Новое Аракчино – Задово и Башковитое

В Задове со времён Горбачёва живут самые прескучные на свете люди – члены Всесоюзного Общества Трезвости имени Чуркина. С утра они трусят с

бидонами на молочную ферму, потом хрустят сырой капустой с собственного огорода. После чего идут в народ, убеждать мужиков из деревни Башковитое не пить горькую.

Те им: «Какая ж она горькая, когда – сладкая!» А эти: «Нет, вы не правы, уважаемые товарищи, она горькая, горькая, горькая...»

Ну, дело до драки доходит. Потом побитые трезвенники плетутся к себе в Задово и читают там при свете керосиновой лампы брошюры про здоровый образ жизни и к чему это ведёт. Посреди ночи к ним в окошко стучится какой-нибудь заблудший турист и слёзно просит продать самогонки! «Подите прочь, – кричат ему трезвенники, швыряясь брошюрками, – идите в задницу!» Но тот идёт сомнамбулой в Башковитое и там его жалеют. Ох, как жалеют...

Из разговора в электричке: «Говорят, что этот самый Чуркин каждое утро с похмелья помирает!» – «Как это? Он же трезвенник, притом идейный!» «Ну вот, бог его за это и отметил: бедняга Чуркин ни капли в рот не берёт и никакой радости не испытывает, однако заодно со всем народом страдает. Это болезнь такая редкая, не помню, как называется, но больной испытывает все прелести похмелья каждое божье утро!» – Покарал, называется!

Задово и Башковитое – Юдино (Юденича)

Дело в том, что во время гражданской войны станция эта переходила из рук в руки десятки раз. Утром здесь – красные, ночью – белые! Кстати, почему это «красных» называют красными, а «белых» – белыми? Всё просто, красные любили дешёвенькое красненькое, а белые – уважали только беленькую, они и величали её во множественном числе – «водки». Говорили: на столе стояли водки. Крепко стояли!

Так вот, утром в посёлок на тощих и измождённых кобылах понуро въезжа-

ли красные. Их мучила изжога, а ещё портянки воняли. Сзади плёлся комиссар Ян Юдин – командующий разбитой в пух и прах 3-й стрелковой латышской бригадой. Погибла бригада нелепо. Защищая родную Юрмалу на унылых просторах Волги и Камы и утомившись, латыши прилегли на тёплые железнодорожные шпалы. Заснули дружно, и вот. В это время в сторону Питера шёл состав, гружённый водкой. Машинист гудел-гудел (а до этого он ещё неделю гудел!), но крепко спят красноармейцы, утомлённые в расстрелах, пьянках и насильственных действиях сексуального характера. Одному лишь комиссару повезло, собаке! В это самое время ангел-хранитель брюссельским мальчиком ему пожурчал в раковину уха. Вскочил Ян Юдин и побежал в кусты, гремя саблей. Тут за спиной его, покрытой прыщами и язвами, послышался хруст, как будто бы крестьянские бабы десять подвод капусты белокочанной шинковать вздумали. «Надо же, нашли время капусту шинковать!» – удивился Ян. Обернулся, морковь свою в ширинку заправляя, и офигел от зрелища. К его хромовым сапогам радостно прыгали сотни голов в будёновках. Он даже восхищённо подумал: «Прыгают, как арбузы!»

Комиссар сел на пенёк, достал планшет и прямо на полях карты боевых действий написал от горя свои первые стихи:

Я в запой не уйду
и на Дальний Восток не поеду!
Мне налево – лениво,
направо – упущен момент.

Он вошёл в посёлок в гордом одиночестве, и люди, удивившись возбуждённому виду комиссара, назвали железнодорожный узел его именем – «Юдино». Правда, в полночь пришли белые и переименовали станцию, и до утра она называлась «Юденича». И так каждый божий день! Но жители быстро приспособились: с утра пили красненькое и жили, стало быть, в Юдино, а ночью хлестали беленькую во здравие Юденича Николай Николаича!

Из разговора в электричке: «Он у меня такая скотина, что научился пьянеть уже и от безалкогольного пива!»

Юдино (Юденича) – Займище

В народе эту станцию поэтично называют: «Займи ещё!» Такое могли придумать только писатели, обитающие здесь летом. Проносья мимо их скромных домиков, можно заметить, как писатель М. одной рукой вытаскивает из машинки «Москва» зажёванную страницу будущего романа, а другой шебуршит в прохладе запущенной клумбы. Там у него припрятано вдохновение!

Рядом, всего лишь через домик, уже накрывают полянку. Там писатель Х. собирается праздновать окончание исторической трилогии. Его радость померкнет уже через год, когда он увидит свои пыльные кирпичи рядом с блестящими калашами в каком-то сельмаге и уйдёт в затяжной запой.

Пока электричка набирает ход, ещё можно краем глаза успеть рассмотреть, как визгливая жена поэта В. поливает кабачок водкой, а на грядках валяется хрюком сам поэт и пытается попасть в жену большим жёлтым огурцом. «Хайван! Дуңгыз!»* – обращается она к нему. А он за словом в трусы не лезет и тут же с ходу ей р-раз: «Дуңгыз – Диңгез!** Хайван – Х... вам!»

Когда-то я тоже был писателем. Потом завязал – закодировался! Увы, рассказы мои не печатали, а денег, которые я получал за газетные статейки, хватало лишь на дрянное казанское пиво.

Помню, как один татарский писатель, пишущий на русском языке, попросил у меня рублик на опохмел и признался: «Я сегодня чуть не помер, просто забыл как надо дышать, понимаешь? Делаю выдох, а потом забываю, что надо бы сразу вдохнуть воздух, и опять по-

* Скотина! Свинья! (там.)

** Море (там.).

чему-то делаю выдох, так чуть не задохнулся!»

Ну их к чёрту, этих писателей, айда дальше! Только вот, на посошок, маленький сюжет из жизни. Один самодельный поэт из далёкой деревеньки, кажется, звали его Фуфайкин, давно лелеял мечту приехать в город к известному поэту, мэтру, стихи которого знал наизусть. И вот собрался: взял с собой огромного гуся копчёного, туюсок мёда гречишного, лещей солёных, бидон настоек на малине. Махнул самогонки для храбрости и нагрянул к тому на дачу. Как бы случайно приехал, но на самом деле нарочно подгадал и явился в самый день рождения. Тот добренький был, так как офужерился с утра, усадил незваного гостя за стол к именитым поэтам и чиновникам. Во время перекура, улучив минутку, Фуфайкин сунул хозяину тетрадку со стихами. Мэтр наугад выдернул строчку и помял её в сочных губах, а потом выплюнул, как вишнёвую косточку. Тут его кто-то окликнул, и он растворился в шашлычном дыму.

До утра Фуфайкин блуждал в сумерках сада, натываясь то на прилипшие друг к другу парочки, то на рычащих в кустах поэтов, но мэтра нигде не было! Наконец доморощенный поэт оказался у мангала, где брызгал чёрным салом последний шампур. Рядом он увидел обуглившуюся обложку своей тетради с уцелевшими буквами «Фуфай». Да, да, это был единственный экземпляр! О, шайтан!

Настоящие поэты знают наизусть эти строки из Библии Поэтов, но я приведу их специально для графоманов и нашего юбиляра:

«И умрёт плодовитый поэт сразу после дня своего рождения, — весь в цветах и подарках, и разложат перед ним в кучерявых облаках сто его упитанных фолиантов, и откроют лишь один из них — самый первый, проглотивший тонюсенькую брошюрку, изданную не помним когда, и укажут перстом лишь на одно единственное стихотворение, написанное в юности, когда он был

влюблён. Вот оно, скажут, дело всей жизни твоей, за которое прощаем тебя — за всё написанное тобой после и ничемное совсем! Мы дали тебе крылья, а ты на них — ходил, как на ходулях! Дурак!»

За окном электрички сплошной зелёной лентой тянутся сады и огороды. Неприглядные домики с заколоченными даже летом окнами, и повсюду задницами кверху — бесформенные тётки в немислимых одеждах. Они застыли и напоминают коров, щипающих травку...

На соседнем участке, раздражая их своим томным бездельем, ржаво скрипит на выцветшей раскладушке поэтесса Клара Коралловая. Не дай бог вам произнести это имя в редакции какого-нибудь казанского журнала, вас тут же больно стукнут папкой её сдобных стихиков по голове, а папка вся такая белая, похожая на дебелую курортницу, которую всю просто распирает, да так, что даже тесёмки лифчика трещат!

Клара ворочается, какая-то назойливая муха досаждаёт ей. Она остервенело бьёт её веточкой перечной мяты, но, как назло, мажет и попадает по «алым бабочкам порхающих рифм».

Если мы посмотрим на Клару сверху, то увидим, что лежит она в обрамлении... нет, не цветов, а тыкв! Эти красно-жёлто-оранжевые барабаны, тамтамы, маракасы, конго и бонго, ярким беззвучным пятном светятся в монотонном огуречном «раю». Тыква вылезла даже из дырки в завалившейся уборной и обвила лианами черенки лопат и грабель.

Бог, делая ежедневный облёт садового товарищества, любил на минуточку зависнуть над Клариными тыквами и полюбоваться эдакой красотой. Он уже дал распоряжение, чтобы Клара через сорок дней и ночей после смерти, которая последует в 2027 году 12 сентября в 17.32 по московскому времени, народилась бы оранжевой тыквочкой!

Клара скрипела и не догадывалась об этом. Она сочиняла!

И ещё немного о Кларе. Кожа её похожа на пенку в стакане какао, кото-

рую подтянули ложечкой к краю, а от ярко покрашенных, даже на даче, губ расходятся лучами белые, незагоревшие морщинки. Это оттого, что в юности она учила целоваться взапас весь семинар поэтов Поволжья и Закамья, который целый месяц не могли закрыть и вытурить всех к чёртовой матери, чтобы хоть бутылки на баржиз вывезти из санатория «Боровое Матюшино».

Прощай, Клара, ты для местной литературы очень даже постаралась!

Кисель уже устремился далее, подалее от этих литдач, но тут электричка неожиданно заскрежетала и упёрлась рогами в шпалы. И ему ничего не оставалось, как продолжать любоваться разоблачёнными от пиджаков и галстуков белыми телесами классиков, вокруг которых, выщипывая сорняк, ворчали морские коровы. За подвязанной малиной он заметил литературоведа Яблонскую. Она, поджав злые губки, кого-то кромсала садовыми ножницами. Кажется, это был её первый муж! Эта сволочь Яблонская полжизни потратила на то, чтобы восстановить в черновиках знаменитого писателя, которого сам Алексей Толстой назвал «литературным музозвоном», все замаранные места. С помощью современной техники она прочла тщательно зачёркнутые слова, собрала воедино серпантин разрезанных листов. Потом опубликовала отдельным томом и получила за это безобразия премию. Если бы классик был жив, то в морду бы ей, в морду!

Обозревая сады из окна электрички – справа и слева, Кисель недовольно морщился. Разве это сады?! Это – огороды!

Я (или всё же Кисель?) отхлебнул вкусенького из бутылки тёмного стекла и завяз в меду воспоминаний. Бабушка будила чуть свет, я давился сладким пирожком, брызгая сочной начинкой, и спешно, с ускоренной прокруткой, досматривал свои мультики-сны. Потом я оказывался в полупустом троллейбусе. Мы долго ехали-ехали мимо скучных фабрик и заводов, мимо озера с ивами, выгружались на конечной, ло-

вили попутку – какой-нибудь пыльный «Зил», который подбрасывал нас до поворота. И отсюда, немного отдышавшись, пешком, с корзинами, по шпалам начинали свой путь пилигримов к заветной даче. Мы шли мимо бесконечного забора пивзавода, откуда вырывался на просторы пьяненький ветерок, весь дрожжащий на дрожжах. Когда узкоколейка сворачивала, мы спускались на просёлочную дорогу, и там нас иногда подбирала какая-нибудь телега.

Четыре главных аромата я помню с тех пор. В ноздрях, по моему желанию, может появиться дурмящий запах бензина из кабины грузовика, острый соляничный – шпал и придорожной травы, сладковатый – пивных дрожжей, а ещё жизнеутверждающий – от лошадиного навоза и самосада, которыми тащило от прокопчённого бритого затылка извозчика.

Но вот мы оказывались у голубой калитки, за которой обрывались все эти дорожные запахи, и тут меня начинали атаковать или же нежно обволакивать сотни и тысячи всевозможных туманов и ветерков, которые текут из садов гурьбой наперебой...

В полдень, когда от зноя кружится голова, это одни запахи, нагретые и распаренные, они не так изящны и нежны, как в сумерках, когда начинается невероятное. Прямо свистопляска! Я видел, как одни из них вздымаются самоварным дымом к бирюзовому небу, другие стелятся по серебристой траве, третьи виснут на плечах, как пёстрые ленты, и тянутся к нежному горлу. Можно часами ходить по садовому товариществу и разглядывать носом! Идёшь по узкой тропинке, и на тебя выплёскивают то слева, то справа запахи, запахи, запахи...

Когда я впервые прочёл стихи Георгия Оболдуева, я прямо обалдел. Это же про мой сад в Борискове написано!

Густые кусты азалий,
Любопытные мордочки альпийских фиалок,
Бескровные шупальца хризантем,
Выдохшиеся ладони персидских сиреней,
Непристойная распушенность тубероз,

Утомлённая бледность лилий,
 Мясистая вонь гиацинтов,
 Ненасытная извращённость орхидей,
 Шикарные махры гортензий,
 Обнажённая теплота мимоз,
 Важная безуханность тюльпанов,
 Чахоточные свечи нарциссов...

Помню сад – квадратик земли. Толстушка, выщипывая сорняк, разговаривает с огородным чучелом: «Что ж ты, милый, завалился? Я ж тебе не наливала». А чучело любовно разодето: мужская, даже не выцветшая, рубашка, отглаженные брюки и не побитая молью фетровая шляпа. Наверное, когда, сидя у окна, она пьёт чай, ей очень хочется позвать его к столу, ласково и нежно... «Ну как на свете без любви прожить?»

А вот здесь, в голубом домике, живёт пенсионерка, влюблённая в мальвы. Она и сама в своей пурпурной панамке, как старая мальва! Её цветы на длинных стеблях-шестах качаются от влажного ветерка и, как любопытные фламинго, высовываются за ограду, чтобы клюнуть какого-нибудь дачника в темечко. Напротив ошетибилась крыжовником злая старушенция. Я как-то подкрался и набрал полную бескозырку маленьких зелёных арбузов, но она засекла-таки и погналась за мной, щёлкая костлявыми коленками. Крючки её пальцев до сих пор чувствую на шее...

Мне кажется, что садоводы в те годы были менее практичны. Огурцы и помидоры не заслоняли им театрально растекающийся по крышам закат. По вечерам они любили расположиться на веранде и основательно чаёвничать, пробуя ложечкой всевозможные варенья и джемы. Плеская в янтарный чай наливки с прилипшими к бутылкам осами...

– Салямалейкум, Жаппар-абый!

Старик, помешивая черпаком в тазике варенье-пятиминутку, поднимает заплаканные глаза из-под плетёной изгороди соломенной шляпы и говорит, чтобы я принёс кружку. Он накладывает фиолетовую пенку до краёв, я упрямо её с краюхой белого хлеба. Мы сидим у костра до самой ночи. В небе

гудит тяжёлый шмель, он пьян и уже спит, похрапывая – шыр, шыр...

Вспоминая свой сад, Кисель написал вот такую сказку:

Ухо-цветок

Один мужик прилёг на подушку как-то неудачно и сразу заснул. Ухо у него скомкалось. Проснулся и никак его расправить не может: бутонем ухо! Как на работу идти? Взял и махнул с горя стакан и на тебе – ухо расправилось! От водки оно, как цветок оживало!

На следующее утро – та же картина. Но на этот раз мужик решил водой из-под крана обойтись, потому что резонно рассудил, что из-за этого уха он сопьётся, и тогда никакая девушка, кроме Флюрки, за него не пойдёт. Выпил полную кружку, а ухо не реагирует, только покраснелось. Тогда опять пришлось водку, морщась, пить, а через полгода он уже, гляди-ка, с той самой Флюркой жил попиваячи!

Как-то к нам на дачу заглянул сторож. Бабушка его попросила вставить стекло, пообещав за работу магарыч. В бидоне из-под молока, уже давно булькал, попукивая, этот самый магарыч. Сторож ловко вставил стекло в раму, постучал молоточком и протянул ей свой телескопический стакан, намекая: дескать, наливай! Бабушка наполнила его оловянным половником до краёв. Он выдул и сказал: «Компот это, компот!» «Ну уж и компот, больше месяца бродит!» – была не согласная бабка. «Да так – ерунда. Компот!»

Вскоре после его ухода мы с бабушкой пошли за водой, колодец как раз находился рядом со сторожкой. Вижу, торчат из лопухов чьи-то ноги и слабый голос доносится из глубины: «Апа, ты чего это мне налила, а? Голова-то трезвая, а ноги – не стоят!» «Компот! Компот!» – передразнила его бабушка.

Из разговоров в электричке: «Ты знаешь, чё Деникин говорил? «Моя мечта – дойти до самой Москвы, вручить власть законному правительству, а по-

том купить пятнадцать десятин земли и выращивать капусту!»

Займище – Обсерватория

Если посмотреть в немецкий телескоп, то отсюда мои Курочки уже будут видны как на ладони. Белые кубики домиков, палисадники с гладиолусами и мальвами. Жёлтые автобусы туда-сюда. И голубые лодочки тоже скользят по серебристому блюдцу озера, туда-сюда. Туда-сюда, бесцельно и просто так. Но вот в окуляре появляется светлое пятнышко. Оно дрожит! Это она... Я вижу круглые коленки и золотистый пушок, как нежные усики на колосках дикой пшеницы. Мои губы летят к тебе, лопоча...

Ну а пока я отправляю тебе электричку, набитую по самые полочки огромными букетами черёмухи, и кремовой томик Вознесенского, который ты найдёшь на первом сидении слева. Там есть закладка-папироса, вот это место: «...затормаживаются и проносятся зелёные воскресные вагоны, битком набитые черёмухой». И это: «...на нём брусничная рубаха навывпуск. Он с размаху прыгает в утрамбованную спиной раскрытую дверь электрички». Ты представь меня, пожалуйста, в брусничной рубахе!

Развалины Обсерватории поэтичны, как руины помещицкой усадьбы. Старый астроном, у которого седые усы росли прямо из носа, обрадовался предмету в моих руках, отдалённо напоминающему подзорную трубу. Когда я достал второй и соединил их вместе, предмет стал походить на бинокль.

Астроном повёл меня по чугунной винтовой лестнице к звёздам. Стёртые ступени ухали, тёмные бутылки звякали, а звёзды тупо молчали свысока.

– Вот, я всю жизнь искал жизнь на Марсе и ведь только недавно обнаружил, – признался астроном. – То, что я искал там, оказывается, находилось здесь. Мы с вами и есть те самые марсиане! Вот такой научный конфуз...

Кисель смотрел на увеличенную

бледную Венеру. Она была похожа на бельмо. На звёзды всё же лучше смотреть невооружённым глазом или через слезу. Так привычнее.

Они продолжили в кабинете у профессора Дубяги, который основал тут в начале позапрошлого века обсерваторию. Сохранился его письменный стол, обтянутый зелёным сукном, с чернильным прибором. Давно высохшие чернильные чернила в хрустальной чаше мы заменили дешёвым яблочным вином и вскоре стали молча думать в одном направлении: где бы теперь раздобыть лодочки?..

Пока помолодевший лет на десять астроном бегал к знакомой астрономше за ласками и водкой, Кисель отыскал в книжном шкафу Энгельгардта брошюру «Как делать коньяк г-на Шустова на даче», издания 1912 года, а ещё забавный альбомчик, обтянутый красным сафьяном и снабжённый серебряной пряжкой. «Тотоша» – красовалось на титульном листе золотым тиснением, и на тридцати трёх страницах в разных ракурсах красовался этот самый Тотоша – краснохвостый попугай-жако, любимец профессора Дубяги.

Две бутылки, которые принёс астроном, были завернуты в старые газеты, одна из них была посвежее и датирована 1886 годом. Борзописец сетовал: «Раньше были лишь «Светлана» да «Ночная красавица» – это по женской линии, да по мужской – настой Ерофеича и Минеича или просто «Травничёк-простачок». А теперь? Латинскую память нужно иметь, чтобы упомянуть: Смирнова, «Российская», Попова, «Королёвская», «Царская», «Богатырская», «Очищенная», «Пшеничная», «Столовая», «Десертная», «Аппетитная», «Казанская», «Французская», «Английская», «Ферганская», «Кокандская», «Хивинская», «Туркестанская». Из забористых водок: «Тяжеловесная», «Бочаровка», «Амурная», «Усыпительная», «Адмиральский час», «Медведка», «Сибиряк», «Бальзам Цезаря»...».

На зелёном сукне, прожжённом падающими звёздами и тлеющими быч-

ками, зияла чёрная дыра под названием «Южные ночи».

– Водки, увы, сегодня не видно даже в телескоп, – оправдывался астроном. – Зато портвейна – две бутылки!

– Вот мне интересно, – сказал Кисель, – вы всю жизнь на небо смотрите вооружённым глазом, неужели ни разу тарелку не видели?

– Даже спяну не видел, – честно признался астроном, – хотя по всему небу ночи напролёт шарил, шарил... Зато на трезвую, не поверите, я однажды Бога увидел! Он вот так, низко летел, над самыми вишнями. Такой крепенький старичок-бодрячок, на татарского бабая похож. Я даже штопанные шерстяные носки разглядел и бородку клинышком! Как раз в это время суп с фрикадельками варил. Сельдерей, укропчик... – всё, как полагается. Так он, уловив струящийся вверх запах, даже немного повисел над кастрюлькой. Ей-богу! Да, а впереди себя он тучку дождевую толкал. То лето засушливым выдалось, а здесь неподалёку одна поэтесса красивые тыквочки выращивает. Так это он к ней тучку, значит...

Он вообще очень заботливый. Както, когда меня не было, спустился с небес и гвоздик к стенке прибил, чтобы мне было, куда пальто вешать. Подсмотрел ведь, что я его бросаю, где придётся...

Обсерватория – 774-й км

Обычно здесь выпивка уже заканчивается, и пассажиры погружаются в сладчайший сон, когда в голове шумит камыш и кувшинки раскрываются, как чаши. Скоро, скоро, мы их ещё раз наполним! Подожд-ж-ж...

Сволочи-контролёры это знают. И подло выбирают для проверок эту самую станцию, чтобы порвать живопись сновидений окриком: «Ваш билетик!»

Ну не нацисты, а?

Тут я припомнил один забавный случай. Послушайте-ка. Жил в Казани обыкновенный алкаш, такой тщедушный, в

мятом сером пиджачишке. От него вечно тащило кислой трущобой. И кепчонка вся в кошачьем помёте была. Ну, картина неприглядная. Денег на выпивку у него никогда не водилось. Занимал он их у матери, которую навещал в день, когда ей приносили пенсию. Одну бумажку выпросит, вторую слямзит, а ещё щей пустых похлебаёт. Жила она в хибарке в деревне рядом со станцией «774-й километр».

Но, как мы знаем, бог-то всех любит и жалеет, и вот решил он праздник Ваське устроить. Вы, наверное, уже догадались, что алкаша Васькой звали. Так вот, выходит Васька из подъезда и направляется к матушке денег подзанять, чтобы потом водки в глубоком одиночестве выпить (даже коту своему Василию Петровичу в консервную банку ничего не плеснёт, настолько опаскудился). И что же? На улице метель, на нём старое задрипанное из драпа пальтишко, а шапки нету – пропил даже мокро кролика. Он прыгает в уголок и притворяется пьяным, в надежде на милосердие контролёров. Но тут вдруг кто-то нежно так касается его плеча (контролёры так не умеют) и грудной женский голос дышит у самого уха карамелью: «Васёк, ты ли это? Просыпайся, голубчик! И перебирайся к нам...» Он вытягивает свою нечёсаную башку на тонкой красной шее и моргает изумленно, как страус на ферме в Балтасях. Глядит, а на соседнем сиденье прямо на пухлых женских коленках уже и аппетитную полянку накрыли. Копчёную колбаску нарезали прозрачными сальными дольками наискосок, сыр «Пошехонский» – пахучими треугольниками. Кусочки хлебушка «Бородинского» вместе с кружочками огурца малосольного так и пляшут от нетерпения. В рот просятся! В белых ладошках мнётся газетный кулёк с пятнами сладкой летней крови, а в нём дрожит, источая по вагону дурман, только что сорванная с грядки огромная клубника и катается по полу – туда-сюда – полосатая антоновка, озорно, как ребёнок, спрыгнувший с коленок...

В замороженную руку Ваське силой суют гранёный стакан и плескают туда до краёв вишнёвой настойки. Сладкая, с розовой пеночкой! «Ты что, Васёк, не признаёшь меня, что ли?» «Не-а!» «Да Люлька я, одноклассница твоя. Помнишь интернат для слабоумных? Ха-ха!»

Люлька попросила бродящих по вагону музыкантов спеть что-нибудь из Энгельберта Хампердинка, а сама придвинулась к одуревшему Ваське вплотную, обдала какими-то вечерними духами, от которых у меня защекотало в горле, и поцеловала в засос, так что у него чуть фикса не засосало, как в пылесос. Он на минутку отключился, а когда разлепил глаза, то увидел пустой неуютный вагон, в открытые двери дуло, и снег бил наотмашь в морду. К нему, угрожающе рыча, приближались контролёры...

«Это был маленький фушет!» – подумал Васька и вывалился, как немецкий парашютист, в сугроб.

...Она ждала, опустив тяжёлые ресницы. Подлая туча встала над ней, как дирижабль, перевернулась и вылила содержимое. Бабы завизжали, зонты захлопали над головами, мужики разлили по последней под реликтовыми лопухами. Дождевые капли висели на её мочках и сверкали солёными бриллиантами. Или это были слёзы на ушах? Она стояла не колыхнувшись, будто бы ждала своего контуженого с фронта. И даже стала различать, как далеко-далеко бренчат медали на его выцветшей гимнастерке, как булькает в чемоданчике трофей...

В это время в Курочках умер один пенсионер – член товарищества пчеловодов-любителей. Его покусали собственные пчёлки. За неделю до этого он пожурил их за то, что мёд отдаёт керосином. Отомстили!

Покойника надо было везти в Казань на вскрытие. Но все грузовики из автопарка погнались на битву с урожаем. Родственникам пришла на ум оригинальная идея – посадить пчеловода в электричку «Курочки – Казань» и купить ему

билет как живому. Ну, заснул. Ну, может быть, немного поддал. Много ли старику надо?

Беленькая с круглыми коленками и бриллиантами в мочках подслушала краем уха разговор родственников покойника. Вытряхнула воду из ушей и смахнула в траву бриллианты. Смущаясь, попросила войти в её положение пылко влюблённой. И один прыткий смуглый родственничек вошёл-таки. Он сказал: «Ну лады-лады! Только по-быстренькому, мадемуазель».

Она скоренько замусоленным карандашом для ресниц написала записку Киселю: «Где же ты, солнышко, осветившее сумрак жизни моей?..»

Письмецо всунули в холодный кулак пчеловода и усадили того у открытого окошка, чтобы обдувало. Над ним жужжала пчела. Прощаясь, она плакала мёдом!

Электричка дёрнулась. Девушка помахала покойнику платочком и...

В этом месте родственники покойного очень уж просили меня обозначить вкратце весь пройденный путь принявшего мученическую смерть. Что я и делаю. Он был герой войны – мичман, которого в суматохе боя забыли при отступлении в винном погребке осаждённого Тamarиска. Но он не растерялся, утопил партбилет в сортире, а «краба» с бескозырки разжевал и проглотил и стал изображать из себя радушного хозяина погребка. Прошло-то всего пару суток, и вот уже поверженный враг лежал бездыханно вповалку у погребка, как у дзота!

За смекалку мичмана сделали боцманом (ну или наоборот), наградили трофейным велосипедом и на всякий случай посадили на десять лет за распитие во время боевых действий спиртных напитков с офицерским составом неприятеля.

Освободившись, он решил радость людям развезить и устроился почтальоном, благо велосипед уже имелся. Ему выдали сумку на ремне и медную бляху. Он спозаранку крутил педали, сначала в одну чайную, потом в другую.

Беда в том, что чай там был не всегда...

Приняв краснодарского красненького, он начинал на укромной полянке тщательно сортировать почту – грустные письма сжигал или пускал на самокрутки, радостные оставлял и даже иногда чего-нибудь туда вписывал. Короче говоря, подходил творчески. Но однажды случилась промашка – он сделал приписку в письме председателя райкома, которое тот послал своей супруге из командировки в Гагры: «Ты, милая, не переживай, мне тут хорошо, – дописал почтальон. – Я пью вволю и гуляю с одной ошень чистаплотной и порядошной жэнщиной!» Почтальон никакого зла не замышлял, просто хотел, чтобы душевно вышло, а оно вон как обернулось...

Выперли его из почтальонов, и тогда пошёл он туда, где сладкая жизнь гудит и жужжит над самым ухом. На дальнюю пасаку пошёл. Продал свой велосипед и купил бразильскую матку с тремя трутнями, а ещё брошюрку, как делать правильную медовуху по-чувашски. И не думал, не гадал, что это он смерть свою покупает... Сладкую смерть через мёд!

...Контролёры зашли перед самой Казанью, в Старом Аракчино, и сразу споткнулись об пенсионера с письмом в кулаке. «Ваш билетик и пенсионное удостоверение!.. Товарищ! Ваш би... Предъявите, пожалуйста, гражданин би!..» – «Ты что, не видишь? Он же наклюкался!» – «Ваш би...» – «Вон что-то торчит у него» – «Это не фантик, а какая-то бумажка» – «Да не там. А вон, смотри, в ухе торчит» – «Ну, даёт, билет в ухо засунул!» – «Так-так, а билетик-то до Юдино!» – «Ах ты, старый заяц! Вылезай!».

Они, чертыхаясь и активно помогая коленками, вытолкали вон пенсионера из вагона, усадили на скамеечку, пошущукались немного и быстренько впихнули того в подошедшую электричку «Казань – Курочки». Народу там было не продохнуть, поэтому покойник стоял как вкопанный!

Каково же было удивление Беленькой с полными коленками, когда покойник «вышел» к ней навстречу!

И только с третьего захода он доехал-таки до Казани! Народ вытек из взопревшей электрички и разделился на четыре ручейка. Один побежал в рюмочную, другой в пивную, третий в гастронорм «Столичный» за чекушкой, а четвёртый... Это был самый противный ручейк, который нырнул в подземный переход и выплеснулся на другой стороне у троллейбусной остановки. Это были изгои – трезвенники, которых в электричке всегда презрительно оттесняют в тамбур. Они все угрюмо и дружно поехали на Уксусный завод – пить уксус! Чего-то им надо же пить...

Наконец-то Кисель, упёрся, как пьяный бычок, в электричку «Казань – Курочки» (блин, значит, к Беленькой уехал всё-таки я!). Жадно глотнув острый запах шпала, он ввалился в тот самый вагон, где сидел полужёжа или лежал полусидя покойник. Полчаса Кисель беседовал с ним о всякой ерунде: о Боге и Вселенной. Сквознячок детской рукой ворошил седой пучок на лысой башке пчеловода, в которой затвердела известью его самая последняя мысль: «Надо бы перегнать старое забродившее варенье. Пять трёхлитровых банок – это же две поллитры! И завязывать с одеколоном, у меня от него изжога. Или разбавлять, что ли, мятным чаем? Иначе просто...»

Потом ветерок потрогал письмецо, зажатое в кулаке бывшего почтальона, и вдруг выдернув его – пустил самолетиком по вагону. После ринулся обратно и повесил листок на невидимых нитях прямо перед мутными глазами Киселя. Тот надел очки и прочёл: «Дорогой мой Киселёк! Где же ты? Куда запропастился? Я стою тут, как дура, одна...»

Кисель протрезвел на целых три минуты, поймал письмо и тут же на коленке почтальона ответил Беленькой. Это была нежная белиберда, приводить которую нет никакого смысла. Он аккуратно скомкал бумажку и вложил её в жёлто-синий кулак.

Потом, вспомнив о подарке, сунул тому в карман целлофановый мешочек орешков в сахаре и несколько конфеток «Петушок – Золотой гребешок». Нежно приобнял покойника и даже шепнул: «Старик, мы ещё тяпнем по махонькой!» Через час электричка тронулась в обратный путь.

Вскоре Беленькая солёным дождеком поливала пылкий тетрадный листок, который нёс в себе такую любовную нагрузку, что только держись! Она прижимала письмецо к глазам, к губам и ко всем интимным частям девичьего тела. Ей не достался Кисель, но зато его ласки дошли до неё через бумажку. Можно сказать, что это письмо и сделало её женщиной! Вот даже как бывает...

Она охала и ахала, стоя на перроне, и даже не заметила, как покойник прошёл мимо неё в сторону кладбища, которое умиротворилось навеки под качающимися корабельными соснами и влажными звёздами.

774-й км – 771-й км

Этот отрезок пути самый скучный. Сладкий сон или полудрёму уже развеяли контролёры. Пустая бутылка перекачивается по грязному полу. Напротив тебя обязательно сядет противная баба с мясистым прыщиком, который всё старается заползти в ноздрю. Слава богу, не в твою! От неё пахнет ощипаным и опалённым гусём.

За окном какой-то мерзкий пейзажик. Некуда глаз уткнуться!

Из разговора в электричке: «У нас соседка бычка продала и отнесла все деньги к зубному. По понедельникам он ей дупла рассверливал, по вторникам нервы, как червяков, на винтовые иглы накручивал, по средам – дёсны резал, по четвергам – корни с хрустом рвал, по пятницам подпиливал резцы и свинцовые пломбы ставил. В субботу и воскресенье – не трогал, давал передых! Потом, через месяц пыток, за дело взялся протезист...

И вот, наконец, настало то самое долгожданное утро, когда она вышла молодая и соблазнительная и сверкнула на всю улицу фарфором зубов. Ослепила водителя грузовика и... р-раз – в лепёшку! Поэтому-то я решила к зубному не ходить, уж так как-нибудь... А боль я водочкой унимаю!»

771-й км – Васильево

Не советую здесь напиваться. Себе дороже! Если что-то осталось в портфеле, то надо сделать большой, но тихий глоток и притвориться спящим.

Говорят, здесь когда-то шумные цыгане табором стояли и обирали всех проезжающих до панталон. У дороги одно время даже чёрный столб был вкопан с предупреждением к путникам особо тут не задерживаться, ибо... Но и его вскоре увели! Цыгане так обнаглели, что даже Александра Сергеевича обобрали, когда он мимо изодранных шатров в Казань направлялся! Потом он поэму про них написал, а когда они прочитали её, то всё ему вернули до копеечки...

Васильево – Атлашкино

Мимо! Мимо! Предвкушая встречу с буфетом на следующей станции.

Атлашкино – Зелёный Дол

В Зелёном Доле работает классический буфет. Именно таким он и должен быть на любой железнодорожной станции. Дребезжащие стаканы на подносе – чокаются сами по себе, бутерброды, игрушечными вагонами съезжают на пол. Дрожь в руках пассажиров, а между ног у них чемоданы, в которых грязные носки комочками и вспотевшая салями, требующая водки.

В ассортименте сомнительная водка – «палёнка», к ней каменные пирожки с капустой, тарелка оливье серого

цвета, синие яйца вкрутую, зелёная соль и шницель – холодный, как ладонь покойника. К этому набору обязательно прилагаются запах хлорки, липкие от разлитого кофе столики, мухи, жужжащие в сладкой лужице, и невозмутимая буфетчица, смотрящая в даль. Кажется, в сторону Адлера!

Вот так, сидючи в буфете, Кисель и написал свой первый рассказ. Было ему лет семнадцать, не больше. Он смотрел на буфетчицу, которую закатный луч гладил по сдобной попе, и сочинял...

Любовь, мышки и подмышки

Подмышками у старой женщины жили две бурые мышки. И когда она обнимала своего любовника, эти мышки забиралась ему на голову и быстро-быстро колотили хвостиками-прутиками по щекам.

Тот лежал на спине, устало прикрыв подрагивающие веки. Закатный свет повисал радужными капельками на его ресницах, и мужчина видел сквозь капли какую-то девушку, задёргивающую тяжёлые шторы и утопающую пятками в персидском ковре. Он услышал запах травы из её рук и загустил...

– Кто подарил мне её? И кто отобрал? И неужели это всё, что осталось от нашей молодости?! – устыдился он, смахнув бурых мышек.

А женщина сидела на кровати, обесилённо уронив голову себе на грудь, прикрывая спутанными волосами скудную наготу. И то ли заснула, то ли наслаждалась...

Не поймёшь!

«Когда-то и мне придётся идти к этой женщине с бурыми мышками», – грустно подумал умный мальчик, случайно заглянувший в окно.

Из разговора в электричке: «Да вот, чего далеко-то ходить? Хотя бы моего деда взять. Отрезали ему недавно причиндалы и баночку трёхлитровую к ноге привязали. И живёт себе – радуется! Надо было, говорит, давно так сделать,

ещё в молодости, когда я за бабами бегал и только время зря терял. Баночка наполнилась, ты её слил, опять накапало доверху – пошёл и опорочжил. Удобная, слушай, вещь!»

Зелёный Дол – Паратск

Говорят, при Александре I некие таинственные лесные гусары здесь свои парады маршировали. Пили они забродивший берёзовый сок и ходили в лаптях. Царь их держал на особый случай, когда противника надо было чем-то очень удивить. Это как последний аргумент! Представьте себе, спускается такой вот пьяный десант в вонючих лаптях и с бородами лопатой на Париж, и, конечно, там все обескураживаются. Откуда? Зачем? А это просто манёвр такой!

Станция Паратск – это вход в город Зеленодольск «сзади», по лесным тропкам, по ёжикам и еловым шишкам. В самом городе невероятное изобилие всевозможных кафешек, рюмочных, пивнушек и забегаловок различного фасона. Хочешь – такую, хочешь – сякую! Благодать...

В этом городке, который тогда ещё назывался Кабачищами, прошли лучшие годы Киселя. Знойное лето в кузнечиках, бабушка, заляпанная мукой и оттого похожая на большой пирожок со смородиной, мятой в сахаре, дедушка, булькающий и кричающий. Пусть Кисель об этом сам расскажет...

– Я ведь с самого рождения был романтиком. Тщедушным мальчиком, заласканным бабушкой – директором пицеторга. Дефицитное «Птичье молоко», образно говоря, мне заменяло материнское и, кажется, я был первым в Казани, кто попробовал «Пепси» и португальские сардинки, мягкие крышки которых легко наматывались на специальный ключ. На всю жизнь я запомнил полумрак спальни, где начинали слипаться тяжёлые медовые веки, волны пушистых стёганых одеял с узбекским орнаментом, чревоугодное потряскива-

ние под кроватью запасённых впрок астраханских арбузов, которые в дом затаскивали матросы двухпалубного парохода под названием «Семнадцатый год». Ещё створчатые двери с плюшевыми занавесками малинового цвета, в которые затекал серебристый свет. Здесь окошки летом были распахнуты в мокрый сад, стучащий по шиферной крыше золотыми китайками!

Помню нашу угловатую домработницу Зайнап, в которую сонный дедушка метко пулял тяжёлой тапкой, если та начинала громыхать тазом. И до сих пор перед глазами стоит постоянно накрытый обеденный стол: по центру – коньячок, в углу по-бабьи пищал и ныл электросамовар, изумрудно светилось крыжовенное варенье, абрикосово – абрикосовое. Стол в луче солнца ликовал всполохами! Над курицей висел жёлтый ореол жира, варёная морковь бросала на скатерть оранжевые полосы, в небольшой квадратной площадке чёрным квадратом Малевича смотрелась астраханская контрабандная икра.

Время от времени из спальни вываливался дедушка и одним лишь движением, стирая длань к коньяку (при этом пальцы становились похожими на толстые палки слепых бродяг, которыми те ощупывают дорогу), разрушал улицы с бисквитными домами, городскую площадь с ратушей из пухлого, как перина, рыбного пирога, крушил причал с лодками-круасанами и опрокидывал в шубу пожарную каланчу чак-чака...

Он булькал, крякал, икал и проваливался обратно в тартарары, оставляя после себя коньячное облако пьяного аромата. Я в этом возрасте предпочитал конфеты с коньячной начинкой. А было мне лет пять всего...

Звали моего дедушку – Сопьян. Такое вот красивое татарское имя. Был он, по всей видимости, довольно оригинальным экземпляром. Считал, что мусульмане свинину не едят вовсе не из брезгливости, а исключительно из уважения к этому животному. Так, кстати, и Эзоп считал...

По вечерам на лавочке у ворот он блистал своими познаниями в нюансах мусульманской религии. Собрав вокруг себя скучающих соседей и угощая их из бидона крепким «Мартовским» пивом, он говорил: «Между прочим, в Коране ничего про водку не сказано, там запрещено пить «хямэр» – то есть вино. В девяностом аяте написано: «Эй вы, верующие в Аллаха! Вино, поклонение языческим богам, колдовство – всё это гнусные проделки шайтана. Сторонитесь, избегайте всего этого – и, кто знает, может, вы достигнете счастья».

«Ну, Сопьян-абый, – захоли тата-ры, – ты прямо нам глаза открыл! Ну, теперь будем пить исключительно водку, а вино – боже сохрани!»

Такой вот был у меня дедушка Сопьян, оставивший после себя крылатую фразу: «До смерти буду жить!».

Как-то он здорово перебрал и наконец взял и перебрался туда, на своё вонючее облачко, которое накурил за всю свою жизнь.

«А если бы его звали Сирень или Ландыш (у татар встречаются и такие мужские имена), – спросил я как-то у бабушки, – то он бы не спился, наверное?» «Не-е, обязательно спился бы, – прошамкала она, – но одеколоном «Сирень» или «Ландыш!»!

Из разговора в электричке: «Эх, текёт жись, Антипыч, журчит, как вермут. Немного уж осталось, а надо было две купить! Я ж тебе говорил...»

Паратск – Краснозаринск

Я заметил, как по крыше стационарной сторожки, усыпанной хвоей, прыгает белочка. Вот скрипнула дверь и вышла женщина в телогрейке без определённого возраста. Может, девочка, а может, и бабулька! Кто ж её разберёт. Она помахала красным фонарём дизельной электричке, зевнула и пошла всовояси.

Доехать до Курочек, ей-богу, тяжело. И даже невозможно! Дело в том, что

в Краснозаринске живёт собутыльник Киселья художник Хавочкин. Он-то знает, когда Киселья будет проезжать мимо станции Курочки, и нарочно выходит на перрон с бутылкой креплёного вина и двумя стаканами в руках. Стоит как изваяние! Электричка тут притормозит всего-то на минутку, даже захлёбываясь, не успеешь...

Дача Хавочкина давно уже раздражает местных жителей, воспитанных на консерватизме, как на консервах «Килька в томате». Подашь им на закуску анчоусов — сильно поморщатся. Единственное, что роднит их с Хавочкиным, — так это пьянство. А если бы не пил — убили б посреди ночи скворечником по голове...

Хавочкин в детстве лишился глаза, который ему выбил отупевший дятел, перепутав с дуплом. Ну с тех пор Хавочкин и рисовал странных людей, щедро одаривая их тремя и даже дюжиной разнокалиберных глаз! Такой вот добряк.

С перепою у него по ночам случались разные видения, которые он наутро зарисовывал. Однажды, заночевав у него, я стал свидетелем такого вот сновидения Хавочкина: кто-то невидимый медленно пронёс у самых его глаз мёртвую толстую мышь, держа её безразлично за хвостик. Потом большая белая собака, как Оле-Лукойе, бесшумно прошла из спальни в коридор и там накакала две белые колбаски: одну — в левый ботинок, вторую — в правый. И оба ботинка — мои! Сука!

Дача Хавочкина была сколочена из грубых водочных ящиков, которые он тырил на торговой базе. Перед входом на шесте качался оригинальный скворечник в виде старинной бутылки — «мортиры», в которой охотно жил скворец-отшельник. Внизу одно время орал и выматывал душу кот на собачьей цепи. Кот белый, выкрашенный чёрными полосками под зебру. Потом пришёл хозяин и морду набил! Не коту...

Во дворе — репей и старая «помидорная» яблоня, к ветвям которой были привязаны ниточками дамские пальчи-

ки на закуску. Водку художник зарывал в огороде и после выкапывал как картошку. Так он любил удивлять своих друзей. Правда, иногда они его за это били, так как с возрастом он стал забывать, куда закопал бутылку. Тем более что водка была ихняя...

— Посреди ночи я понял вдруг одну важную вещь, — признался Хавочкин. — Засиделся я в этой деревне, уже даже корешок пустил, как старый хрен! Но поверь мне, дружок, я тебя скоро удивлю. Соберу свои манатки в жёлтый чемоданчик и исчезну. Туда! Туда! — Он замахал сначала на север, но потом осёкся и исправился — показал на юг. — Там краски ярче и можно рисовать пейзажи прямо на пальмовых листьях, а вино... а вино... а вино...

Тут он живо представил себе, как сосёт сосок булькающего бурдюка. Потом, правда, вообразил, что это полная до краёв женская грудь с соском-пробочкой. И вот сладкая виноградная кровь постепенно вытеснила из его плывущих вен укус, и тогда — ну точно! — в окулярах глаз появился табун смуглых девушек с розовыми раковинами в тонких руках, наполненными чёрным портвейном «Кавказ».

— Э-э-э... — Хавочкин нехотя с грехотом вернулся из Сочи в Краснозаринск за свой шаткий столик на веранде, заляпанный краской, и продолжил прерванный монолог: — Знаешь ли ты, какое это счастье, напиваться в привокзальных буфетах и переползая из города в город, из страны в страну? Наполняться, как бочонок забродившим мёдом, медленно, с лёгким бульканьем и урчанием, чтобы потом светиться, как старый пыльный плафон вокзальной люстры. Или перетекать из бара в бар и там слушать непонятную речь и пить незнакомое вино. А если пристанут с вопросом: с какой целью к нам? — прошептать: ищу чашу Грааля! Полную, разумеется...

Если Хавочкин заводил речь о Боге, то это означало, что он уже того, назюкаться.

— Бог — это великий распорядитель!

Всё по-честному и поровну на всех. Гре-хи, болезни, таланты всякие – всё раз-дал. Если я вот – умный, то, значит, где-то в Барнауле есть трое придурков!

Потом он доставал Антон Пальча и читал вслух какой-нибудь отрывок, от-крывшийся наугад:

– «Лука Пылков. Снят со старшего за нерадение и был арестован за пьян-ство и дерзость. Харитон Мыльников. Не попался ни в чём, но ленив. Евграф Распопов – идиот и ни к какой работе не способен...»

Как только Хавочкин взялся за Че-хова, это, считай, всё, теперь можно продолжать пить в одиночестве и поти-хоньку превращаться в Евграфа Распо-пова!

Краснозаринск – Марбум

Марбум пованивает и воняет, что ж поделать. Тут, на Марийском бумажном комбинате, делают кривые лыжи под названием «Марий Эл», а из опилок гонят древесный спирт, который пьют марийцы, и через год-другой становятся похожими на австралийских абори-генов. А когда это происходит, они на-чинают питаться муравьями и жирны-ми гусеницами, теми, что откладывает жук-короед в неотёсанных стволах ко-рабельных сосен.

Я здесь никогда не выхожу: во-пер-вых, воняет, а во-вторых, боюсь пре-вратиться в аборигена. Я ведь даже с водкой не могу этих гусениц, они мох-натые, брызжут своим жёлтым соком и горло щекочут...

Один умный профессор (у него был хронический гайморит), который снимал здесь на всё лето дачу, пафосно назы-ваемую им «шале», неожиданно прямо у сельпо набрёл на лежбище этих са-мых аборигенов. Его хватил столбняк, и он ощутил в руке приятную тяжесть пухлой диссертации на тему: «Этничес-кая группа австралийских аборигенов, компактно обитающая в лесах Марийс-кой республики». Купил им по зеркаль-цу, какие-то пластмассовые бусы и на-

чал изучать повадки. Аборигены стали пускать в него зайчики и наряжать в бусы. Потом потребовали одеколону, махом опорожнили три пузырька, помут-нели и заблагоухали ландышем.

Профессор докучал им каждый день, расспрашивал и что-то записывал в блокнот. А когда наступал на тугой пиш-машинке «Бугульма» страниц 300 кри-вого убористого текста, то вздохнул облегчённо, и в области сердца ощу-тил приятный укол булавкой от краси-вого ордена, который скоро нацепит ему на лацкан сам ректор университета.

Профессор подошёл к зеркалу, что-бы причесаться, и обомлел: на него пя-лился во все кенгурячьи глазки самый настоящий австралийский абориген! Он ведь, когда строчил диссертацию, вов-се не чай пил, а постоянно приклады-вался к древесному спирту и закусы-вал чёрным грибочком.

Вот так одним аборигеном в марий-ских лесах стало больше...

Из разговора в электричке. Он: «В те выходные на дачу воры залезли. Ничего не взяли, а вот водку – в сапог спрятал – нашли и выдули!» Она: «Как ничяго? А купальник мой упёрли, а шифоньер, а ложки-вилки, а кастрюльки, а дуршлаг, а стиральный порошок «Лотос», а...?»

Марбум – Курочки

Я весь в предвкушении. Я ёрзаю на заштопанном сиденье, будто бы у меня геморрой. Я дышу волосатой грудью и трезвею от елового настоя, бултыхаю-щего мне мозги. Я еду в Курочки!

Вот здесь самое время вспомнить Куприна, как же без Куприна? И он без нас ну никак, и мы без него! «Он испы-тывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чу-десным, не существующим на земле напитком. Ему казалось, что тёплая, нежная паутина мягко и лениво окуты-вает всё его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом». Всё так и было...

Курочки

Они самые! Голубая электричка, заскрежетав тормозами, клюёт в муравейник, а каких-то лет пять назад, бывало, упиралась в нечёсанный бок медведя! Так-то...

Здесь недавно один мужик без паспорта утонул в дупле, полном дикого мёда. На его некрашеном сосновом кресте с капельками янтарной росы так и написали «Винни-Пух»! Во как...

У меня здесь своя любимая рюмочная. Я её по-свойски называю – «Рюмкой»!

Айда в «Рюмку»? Угощаю!

Внутри сумрачно, но густую тень нарезают ломтями золотые лучи солнечного вермута с нехитрым названием «Полянка». Он пахнет полыньёю и дикой ромашкой. Стоит мне опрокинуть в себя стаканчик, как я вновь вижу мою Беленькую, сбегаящую весёлыми безалаберными ногами по старой горбатой тропинке к перрону. Она прямо топчет моё бедное сердце!

За ней увязалась зелёная бабочка с завитыми, как у Дениса Давыдова, усиками. Боже, как я ревную!

Курочки – это даже не город, а забытые в сосновом лесу фанерные декорации к фильму о 60-х под названием «Зигзаг удачи-2». Чёрно-белый фильм, но такой добрый-добрый. Чтобы передать всю сложнейшую гамму красок, запахов и чувств, оказывается, нужно всего-то два примитивных цвета!

Съёмочная группа, не досняв последние планы, по непонятным причинам быстренько смотала шнуры и кабели, расплатилась за водку и горячие перемячи в школьной столовке и на чёрном ландо-кабриолете умчала в цветной XXI век. Обескураженная массовка, которую обрядили в болоньевые плащи, твидовые пиджачки, дудочки и мини-юбки и забыли раздеть, всё ещё по утрам по привычке приходила на съёмочную площадку и ждала помощника режиссёра с хлопушкой. Было желание выяснить, почему это обещанный гонорар выпла-

тили дензнаками советского периода, то есть синенькими пятирублёвками. Слов нет, году в 1967-м на такую купюру можно было бы купить «Столичной» водки и копчёной колбасы – палку, но это в Москве, а в провинции – «Русской» или три пыльные бомбы плодово-ягодного плюс синюшной ливерной кило сверху!

А сейчас что ты купишь на эту красивую бумажку в магазине под вывеской «Бакалея», аккуратно сколоченной из выструганных дощечек? И только по доброй памяти, из любви к светлому прошлому продавщица всё же начала отоваривать народ. Она принесла из дома жёлтую мелочь советских времён, расфасованную в целлофановые пакеты, и стала бойко торговать. И вот в Валентине Петровне вдруг проснулась Валуха – хабалка и мастерица общёта.

«В одни руки отпускаю только два кило макаронных изделий!», «Сосиски буду вешать с нагрузкой – тульским пряником!», «Эй, там, больше не заниматься! Закрываюсь! Уф!». Валька нагло обсчитывала, честно заглядывая в глаза, придерживала мизинчиком-сосиской и без того врущие весы. Очередь роптала, но тихо, про себя. Боялись, что серые макароны, из которых получается крепкий клейстер, вот-вот закончатся...

Так в Курочки на один вечер вернулась советская власть! Но уже наутро этими синими пятирублёвками хрустели девочки в песочнице, играя в дочки-матери.

Помню, как после Нового года заехал я сюда к другу, или нет, не успел ещё с прошлого года выехать, так будет точнее. Когда выпили всё, что было у нас (и у страшной соседки тоже), я стал потихоньку собираться на родину – домой. Само собой, опоздал на последнюю электричку и поплёлся на автобус. В полдевятого вечера Курочки как будто вымерли. Я стоял один, точно пингвин Адели, на центральной улице в тридцатиградусный мороз, и не у кого было спросить, будет ли ещё сегодня ледокол до Казани! Но вот неожиданно вы-

нырнул светящийся аквариум из глухих марийских лесов и встал передо мной, как сивуха-бурка. Я забрался-таки в него по скользким ступенькам. В конце салона весёлая компания вместе с большой тёплой кондукторшей, увешанной рулончиками разноцветных билетиков, распевала добрые песни 60-х, и мне стало так уютно в этом стареньком жёлтом автобусе, потерявшимся во времени...

На старости лет, если, конечно, дотяну до срока, который официально именуется – «дожитием», то буду гнать превосходный самогон, а ещё окружу себя советскими фильмами и песнями 60-х (особую полочку отведу грузинам, но добрым). Я отношусь к этим временам с пристрастием и, как влюблённая студентка, не замечаю в своём «предмете воздыханий» ни угрей, ни косоглазия с хромотой.

В Курочках имеется своя достопримечательность. Это пускающий в штаны Ильич. Говорят, скульптор, перед тем, как ваять Вождя, съездил в Брюссель и потом ходил зачарованный, бубня под нос: «Маленький мальчик проснись и айда пись-пись-пись!» На первый взгляд Ильич в Курочках ничем особенным не отличался от миллионов своих копий по всей стране: всё та же кепка в кулаке, обмазанная голубиным помётом лысина и пухлая ручка, указующая куда-то – как правило, на рюмочную. Неизвестный скульптор, видимо, полностью овладел методом соцреализма и пошёл дальше, перешагнув тяжёлые рамки, за которыми начинался стёб и натурализм. Он сделал небольшую ложбинку на лысине Ленина, чтобы во время дождя в ней скапливалась вода, а для стока высверлил в туловище узкое вертикальное отверстие и вывел его в районе гениталий. Господи, неужели этот срам был и у Владимира Ильича и что он с ним вытворял в шалаше?! Шу-шу?

Так вот, когда рабочий класс в обнимку с интеллигенцией в лице шахматиста Байкалова (которого, понятное дело, все называли Бокаловым) гурьбой вывалился из рюмочной и пристро-

ился к Ленину сзади, из засады, бряцая наручниками, вышел патруль. Серый и злой, с двумя резиновыми хвостами. И закурилась у них такая беседа:

– Вы, мать-ать-ать, Ленина, мать, залили. Как пони-мать?

– Обоссали, то есть?

– Ну и так тоже можно сказать, мать...

– А почему это ему можно, а нам – терпи в штаны?

– Ты чё, совсем уже того? Сходи вон у песочницу, а то прям на Ленина кипяток!

Во время диалога мочеиспускание не прекращалось, и из-за угла было хорошо видно, как сверкали, сплетаясь в тугую косицу, три весёлые лошадиные струи, а рядышком прыскала в сторонку деликатная струйка Бокалова. Но как он ни пыжился, всё равно закончил позже всех и получил пенделя...

Из разговоров в электричке: «Степановна! Сядни скользко в гору-то топать-то?». «Ой, скользко, ноги так и едут, как на лыжах. Я сама три раза упала, а два – ё...ась!»

**...И снова Казань,
пляж на берегу Волги,
называемый «Локомотив»**

Кисель поёжился на своей голубой лавочке, пробубнил: «Конечная станция «Казань». Просьба не забывать свои вещи, особенно пустые бутылки!», стряхнул сон и побрёл куда ноги неровно идут. Сделав два круга, вернее, эллипса, он потом ещё умудрился как-то вышагать квадрат и вот оказался на пляже. Здесь никогда не было рюмочных, и даже в жару не завозили сюда холодненького пивка, но в этот расчудесный день, хрустя речным песком и клацая зубами, Кисель отыскал-таки затерянный в тальнике ларёк, установленный так неудачно, что не всякий отдышающийся мог обнаружить его. В окошечке сладко дремала буфетчица, утопив тройной подбородок в сплетённых

кренделем руках. Жаль было будить тётю, но... Жажда – не тётка! Кисель разжал кулак, и в нём зашуршало. Бу-мажка, как бутон розы, медленно раскрывалась, буфетчица увидела сквозь закрытые веки купюру и пробудилась.

Одну бутылку портвейна «Анапа» Кисель зажал под левой подмышкой, вторую – под правой, а третью – между ног! Так и прыгал, как лемур сифако, к дальней скамейке, а потом ещё два раза туда и обратно – за стаканом и спичками, чтобы пластмассовую пробку подпалить и зубами её снять...

Рядом пронеслись поезда и гудели натянутые рельсы. Кисель сел на камушек и сказал сам себе: «Боже, хорошо-то как, хорошо-то как». И скорый «Казань – Адлер» простукал радостно чуть ли не в раковине уха, поддакивая: «то как, то как, то как».

Над самой головой в кустиках синички-вертихвостки завертелись и звонко затрещали, провоцируя: «пить-пить! пить-пить!»

Кисель поскрёб по сусекам, нашуршал какие-то рубрики и двинулся, загнипотизированный синичкиным призывом, в свой родной подвальчик на Комлева.

Он шёл и декламировал, размахивая озябшими руками:

**Я не алкаш, но выпить рад,
Чужды мне трезвенников ахи,
Чтоб не удариться в разврат,
Не надо уходить в монахи!**

Кто написал? Ну не татарин же, наверное, какой-нибудь еврей с седой бородой, пропахшей крепким и дешёвым «Беломордом». Ну да...

Подвальчик, кстати, назывался «Горняк», потому что стоял на горе. Но, возможно, имя ему дала «сталинка», в которой тогда проживали шахтёры-стахановцы. Они спускались в него как в запой, фу ты... в забой и пропивали там свои «длинные рубли», перепачканные углём?

Теперь подвальчика нет, даже дух вывели и табличку прикладом сбили. Если бы смогли срыть бульдозером гору, то так бы и сделали. Как только подвальчик прикрыли, так и Кисель

куда-то пропал. Одно ведь с другим было крепко связано, как будто цепью вечной любви...

На этом мы поднимем по последней и тихо-мирно разольёмся, кто куда. На две нам уже не хватит, а точнее, нас – не хватит. Эх, старые мы с тобой перуны!

А ведь бывало когда-то, мы, как лошади брабансоны, сочные губы свои трубочкой складывали и в ведро с холодной водкой окунали. И так стояли час-два, пока занемевшие и осоловевшие губы по самому дну шлёпать не начинали! Шлёп-шлёп...

Не, трезвенники нас не поймут. Ведь между нами одно существенное различие. Они единожды на свет родились и помрут, как им полагается, в назначенный день и час, когда звезда чиркнет о другую и шлёпнется бычком в стакан с кефиром. Мы же с тобой – тысячу раз помирали на этой земле и вновь возрождались, как исусики, как христосики. И тогда жизнь вокруг нас вставала во всей своей новизне, как сельская церковь с отмытыми окнами и высоким крестом, до блеска надраенным облаками.

Внутри – светло от свеч и лика божьего и пахнет ой как хорошо! Но всего-то пройдёт неделька-другая, и откуда-то снизу, из сырых погребов, потянет сладким кагором, и тогда опустит глаза свои боженька, и потемнеет в церкви, как в рюмочной...

И вместо оплывших свеч засветятся рубином стаканы. Бездонные гранёные стаканы в наших руках задрожат!

С последним глотком я приоткрою щёлки монгольских глаз, чтобы наконец-то увидеть дно своего стакана. Когда-то это был бездонный колодец, вырытый семью поколениями берберов, которые день и ночь сменяли друг друга, с вечно летящей каплей серебра, но вот, я слышу, ей всего-то осталось пролететь расстояние, равное одному стакану вина и одной душистой сигарете.

Только давай уж, дружок, тяни маленькими глотками да глубже затягивайся!

*Казань – Курочки – Казань,
февраль, 2009*